

Изъ лекцій Г. С. Петрова.

Литература и жизнь.

Въ русской жизни литература занимает совершенно исключительное положение. Художественныя произведенія нашихъ писателей далеко не всегда блещутъ въ высшихъ красотахъ, — особенно это можно сказать о Достоевскомъ, точно также и Толстой старательно шлифовалъ не стиль, а мысль своихъ произведений. Зато по глубинѣ анализа, главное же по высотѣ созданныхъ ею идеаловъ русская литература не имѣетъ равной себѣ во всемъ мѣрѣ. Величайшій писатель Италии Данте съ потрясающей силой описываетъ вообразимыя страданія людей въ различныхъ кругахъ ада. У Гете, писавшаго въ политически бурное время, нѣтъ серьезныхъ откликовъ на текущую жизнь. Нашъ же писатель всегда страдаетъ живыми страданіями народа, болитъ глубочайшимъ горемъ человѣка. Даже у второстепенныхъ русскихъ поэтовъ можно найти искренній откликъ не то, что на рѣжущіе стоны жизни, но и на еле слышные, замирающіе скорбные звуки ея.

Гете создалъ трагедію ненасытнаго стремленія человѣка все къ новымъ и новымъ знаніямъ („Фаустъ“). Но сколько во всей исторіи человѣчества наберется подлинныхъ Фаустовъ? Единицы. Напротивъ, взоры нашего Толстого направлены совсѣмъ въ другую сторону, — къ трагедіи отсутствія всякихъ знаній, полнаго духовнаго мрака („Власть тьмы“). Это — трагедія миллионовъ людей живыхъ, окружающихъ насъ. Въ этомъ постоянномъ состраданіи людскому страданію, въ неизмѣнномъ стремленіи ко всему высокому и прекрасному и въ беспощадномъ бичеваніи всего низкаго — обаяніе русской литературы.

Мы сами чувствуемъ ея духовную красоту, гордимся ею, равно какъ и всѣмъ русскимъ искусствомъ, достигшимъ во всѣхъ областяхъ высокой степени развитія. Но не таится ли въ этомъ самодовольствѣ величайшей опасности? Да, такъ и есть. Влюбленные въ родное искусство, съ его высокими идеалами, на практикѣ мы забываемъ объ ужасахъ жизни. Этимъ искусствомъ мы подумываемъ мертвенную блѣдность жизни, — и все же въ ней остаются непронутыми и безысходная тоска, мракъ, смерть, голодъ... На Западѣ люди непрерывно заняты строительствомъ жизни, поднимаютъ живого человѣка все на большую и большую высоту, а мы, выражаясь рѣзко, можемъ похвалиться только своими балеринами. Отсутствие государственнаго и общественнаго благоустройства, общей сытости, отсталость нашей промышленности и техники, безграмотность и т. д. — все это мы стыдливо прячемъ. У насъ есть прекрасная литература, но нѣтъ читателей...

Красоту, на какую мы оказались способными въ искусствѣ, надо распылить во всей нашей жизни, чтобы вся она была красивой. Всегда и во всѣхъ областяхъ жизни мы всѣ должны быть художниками, чтобы всякій могъ сказать, что его дѣло было довольно имъ, равно какъ и онъ былъ доволенъ своимъ дѣломъ.

Но мы — не люди дѣла. Нашъ недостижимый по высотѣ идеализмъ — отвлеченный, оторванный отъ дѣятельнаго творчества. Мы больше мечтаемъ объ идеалѣ, нежели воплощаемъ его. Нѣтъ у насъ воли, нѣтъ энергіи, въ этомъ Ахиллеса пята русскаго общества и русскаго народа. Мы прекрасно, благородно чувствуемъ и мыслимъ и все же въ дѣйствительности не можемъ подняться выше павозной кучи. Мысли орлиныя, а крылья куринныя. У насъ большіе мозги, громадное сердце, а становаго хребта нѣтъ. Только Россія могла создать чистѣйшій алмазъ — интеллигенцію. Это наша святыня, ковчегъ заветовъ. Но, вѣдь, интеллигенція — это лишь нѣчто разсуждающее. Аналогичныхъ понятій „агенція“, „воленція“, у насъ вовсе нѣтъ, потому что нѣтъ у насъ воли. Этимъ безволіемъ, своей мягкостью мы даже любимъ, въ противоположность, напр., желѣзной энергіи англичанина. И неудивительно, что противъ англичанской стали не можетъ устоять русское тѣсто.

У насъ — только словесность, все уходитъ въ красивыя фразы. Слова остаются словами. Надо осуществлять ихъ, чтобы они не были только праздничнымъ, выходнымъ нарядомъ. Хорошія слова — это вексель, и надо оправдывать его. Самый крупный вексель выданъ нашей литературой, а средствъ оплатить его нѣтъ, потому что для этого необходима энергія. На Западѣ — „Труженники моря“ (В. Гюго), Робинзонъ Крузо, культивирующій безлюдную мѣстность и цивилизую-

щій дикаря. Для героевъ Жюль-Верна поверхность земли становится слишкомъ тѣсной ареной дѣятельности, и они уходятъ на луну, во внутренность земли, въ подводное царство, а у насъ литература создала такія понятія, какъ „лишніе“ люди, „хмурые“, „ничтожные“, „усталые“. Толстой проповѣдуетъ даже, что человѣку нужно всего три аршина земли. Но это неправда, — живому человѣку необходима вся планета для проявленія его энергіи, и только трупъ можетъ удовлетворяться тремя аршинами. На Западѣ люди строятъ жизнь. Англичанинъ подчинилъ себѣ паръ. Заключенный въ желѣзныя оковы, онъ бѣшено мчится по землѣ, увлекая за собой сотни вагоновъ, миллионы пудовъ. Мы тоже овладѣли паромъ, но заключили его... въ самоваръ. Тихо мурлыкаетъ онъ, а мы сидимъ около и говоримъ красивые слова. Сидимъ со временемъ Ильи Муромца и все умствуемъ. Жизнь не ждетъ промедленій. Она задыхается въ объѣмахъ ужаса, какъ задыхается ребенокъ отъ смертельной болѣзни, а мы у его постели торопимся завести разговоръ... о пользѣ медицины.

Это — трагедія безволія. Съ особенной силой раскрыта она у Достоевскаго. Онъ — величайшій психологъ, но знатокъ не вообще человѣческой души, а только нѣкоторыхъ ея сторонъ, именно, по мнѣнію Г. С. Петрова, русской души и при томъ извѣстнаго времени. Достоевскій писатель-однороду. Онъ не можетъ отрѣшиться отъ думъ о жизни и ея безысходныхъ страданіяхъ. Кромѣ страданій онъ ни о чемъ не думаетъ и ничего не видитъ въ жизни. Онъ мучаетъ читателя, потому что и самъ мучается. Его мучаютъ вопросы — откуда страданія, для чего они, можно ли ихъ уничтожить и почему нельзя. Иванъ Карамазовъ, готовый принять Бога, не понимаетъ однако и не принимаетъ созданнаго Имъ міра именно за эту неизбѣжность страданій человѣка и безсиліе бороться съ ними. То же самое непринятіе жизни находимъ мы у Леонида Андреева и Федора Сологуба. И они мучаются тѣми же муками.

Герои западной литературы изумляютъ читателя жизненной энергіей, а наши торопятся обзавестись нянькой или сидѣлкой, и не уваженіе, а жалость къ себѣ возбуждаютъ они. Именно за эту жалость и любятъ ихъ чудныя русскія дѣвушки, ибо русскую женщину всего легче взять на жалость, потому что она всегда мечтаетъ возродить жалкаго, безвольнаго человѣка.

Жизнь, по Достоевскому, страшна, а человѣкъ звучитъ жалко. Надо отказаться отъ жизни, — продолжаютъ герои Достоевскаго. Но существованіе ли это и неизбѣжное свойство жизни или же только результатъ болѣзни?

Для Достоевскаго жизнь страшна, Андреевъ чувствуетъ отчаяніе отъ жизни, и оба они обращаются съ недоумѣнными вопросами къ кому-то неизвѣстному. Сологубъ — тогда прямо высказываетъ отвращеніе къ жизни и ни отъ кого и ничего не ждетъ. Жизнь, по Сологубу, просто шутка какой-то дьявольской силы.

Пусть такъ, но интересно знать, — какъ же относится Сологубъ къ этой шуткѣ? Онъ, по его собственнымъ словамъ, „дрожитъ“ и ждетъ губели, т. е. примирился. Здѣсь мы подходимъ къ самому корню страшной болѣзни, къ источнику нашего безволія и страха передъ страданіями и жизнью. „Страхъ есть проклятіе человѣка“, говоритъ Кирилловъ передъ смертью у Достоевскаго. Дѣйствительно, мы трусливы, забиты, испуганы, готовы подчиниться всему.

Вся завязка нашей жизни — непрерывный страхъ. Еще до брака онъ боится, сумѣетъ ли прокормить семью, а она — не окажется ли мужъ пьяницей, тираномъ. Вотъ она готовится быть матерью, — новые страхи: того нельзя, этого, пятого — десятого, и въ концѣ-концовъ готовая разрѣшиться отъ бремени женщина чувствуетъ себя, какъ на смертномъ одрѣ. Съ рожденіемъ ребенка всѣ страхи сосредоточиваются нагъ его колыбелью: то слишкомъ жарко, то слишкомъ холодно, то слишкомъ много кричитъ, то слишкомъ мало кричитъ и т. д. и т. д. Вотъ

онъ началъ ступать — новые страхи: не ринется ли онъ со ступа, о ступу, о цвѣтокъ упалъ бы черезъ порогъ, съ лестницы душа ребенка все же остается въ предрѣбеніи.

Удивительная любознательность дѣтей теченіемъ времени начинаетъ раздражать въ насъ утомленныхъ родителей, и въ концѣ-концовъ ребенокъ начинаетъ слышать: „молчи, не вмешивайся не въ свое дѣло!“ Это „молчи“ проходитъ черезъ все дѣтство человека.

ка, а въ школѣ и подавно заставляють держать по швамъ не только руки, но и голову, и мозги.

Удивительно-ли, что нѣтъ у насъ „самости“, нѣтъ собственныхъ рукъ, собственныхъ ногъ, собственной головы. Это не отъ природы, а отъ воспитанія. Мы привыкли ходить „за ручку“. Какъ же намъ заниматься строительствомъ жизни? Дарвинъ создалъ теорію борьбы за существованіе, Толстой — непротивленія злу. Сопоставленіе знаменательное! Нѣтъ у насъ героизма жизни, мы боимся дѣйствовать, даже говорить, думать, даже слушать.

Это наше свойство вовсе не есть общечеловѣческая черта и не существенно для человѣческой природы. Вопросъ Достоевскаго и Андреева „для чего страданія“ непривыченъ, надо спросить — „отчего страданія на землѣ“. Вся мировая жизнь есть непрерывное твореніе жизни, строительство во всѣхъ ея областяхъ. Если въ жизни есть страданія, то они результатъ неустройства, недосдаточнаго строительства. Наша литература не только не подчеркиваетъ это, а еще старается убить въ человѣкѣ послѣднюю энергію. Объясняется это тѣмъ, что Достоевскій писалъ въ ту эпоху, когда вся русская жизнь была „бурсой“, когда не только не уважали человѣка, но и не умѣли уважать его. Человѣка не уважали, въ него не вѣрили, — неудивительно, что у Достоевскаго „человѣкъ звучитъ жалко“.

Достоевскому вторитъ Леонидъ Андреевъ, но уже не встрѣчаетъ прежней вѣры у читателя, потому что за 30 лѣтъ послѣ Достоевскаго въ русской жизни произошелъ громадный сдвигъ. Стали искать иного выхода изъ ужаса жизни, помимо отрицанія ея. Достоевскій провель насъ черезъ круги ада. Черезъ чистилище ведетъ насъ Левъ Толстой. Если Достоевскій одумалъ, то Толстой — писатель одного героя. Многогранный, какъ драгоценный алмазъ, онъ во всѣхъ герояхъ рисовалъ самого себя. Его герои не принимаютъ жизни, но не жизнь вообще, а только окружающей ихъ, современной, вообще же жизнь Толстой страсти любить. Надо переработать жизнь. Дайте просторъ чело-вѣческой душѣ, и если теперь наша жизнь хуже дьявольской, то она можетъ стать бо-жеской. Дайте просторъ чело-вѣческому духу, усовершенствуйте самихъ себя. И привычка такого совершенствованія представляетъ самъ Толстой, изъ кутилы, лѣнтяя, барича, пустаго фата превратившійся въ чело-вѣка почти недостижимой нравственной высоты.

Но Толстой былъ занятъ строительствомъ только личной жизни, а не общественной. Проводника въ обѣтованную землю, полную гармонической красоты, мы еще не знаемъ. Но уже и теперь слышны отдѣльные голоса провозвѣстниковъ будущаго. Одинъ изъ нихъ — Максимъ Горькій. Онъ зоветъ насъ къ новой жизни, красивой и сильной. Жалости не надо, она оскорбляетъ горьковскаго Сатана, потому что для Сатаны „человѣкъ звучитъ гордо“. Горькій будитъ чело-вѣка его потенциальную силу, его энергію, онъ учитъ, что „человѣка уважать надо“.

Толстой показалъ, до какой нравственной высоты можетъ подняться русскій чело-вѣкъ даже вскормленный на почвѣ былого безволія, а Горькій иллюстрировалъ собой, съ какой быстротой это можетъ произойти. Жизнь Толстого — романъ, жизнь Горькаго — чудная сказка. Оба они — показатели изумительной мощи, красоты и вличія русскаго народнаго гения. И не имѣемъ ли мы права сказать, что въ нѣдрахъ нашей народной жизни таится колоссальная непочатая сила? Какъ же можно тѣмъ же бодростью и вѣру? Вѣдь, когда весь народъ разовьется и громко заговоритъ его совѣсть, когда придетъ въ движеніе вся скрытая въ немъ сила, — какой необычайной красоты получится жизнь!

Но нельзя жать чуда. Только поскольку мы будемъ строить жизнь, постольку придетъ къ намъ красивое и радостное. Зато если мы захотимъ и сумѣемъ взяться за строительство, если сможемъ гармонически сочетать въ своей жизни всѣ силы чело-вѣка — разумъ, чувство и волю, тогда красотой, величіемъ и обаяніемъ будетъ дышать не только русская литература, но и вся русская дѣйствительность. Только тогда святыя идеалы русской литературы воплотятся въ жизнь, только тогда наша литература оплатитъ свои векселя...